




Виктор ГЮГО



✧ ОТВЕРЖЕННЫЕ ✧
главный роман Виктора Гюго
В ОДНОМ ТОМЕ



Виктор Мари Гюго

Отверженные

«ФТМ»

«ЭКСМО»

1862

Гюго В.

Отверженные / В. Гюго — «ФТМ», «Эксмо», 1862

ISBN 978-5-699-50957-7

Знаменитый роман-эпопея Виктора Гюго о жизни людей, отвергнутых обществом. Среди «отверженных» – Жан Вальжан, осужденный на двадцать лет каторги за то, что украл хлеб для своей голодающей семьи, маленькая Козетта, превратившаяся в очаровательную девушку, жизнерадостный уличный сорванец Гаврош. Противостояние криминального мира Парижа и полиции, споры политических партий и бои на баррикадах, монастырские законы и церковная система – блистательная картина французского общества начала XIX века полностью в одном томе.

ISBN 978-5-699-50957-7

© Гюго В., 1862

© ФТМ, 1862

© Эксмо, 1862

Содержание

Часть I	5
Книга первая	5
Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	10
Глава 4	11
Глава 5	15
Глава 6	17
Глава 7	20
Глава 8	22
Глава 9	24
Глава 10	26
Глава 11	34
Глава 12	36
Глава 13	38
Глава 14	40
Книга вторая	42
Глава 1	42
Глава 2	49
Глава 3	51
Глава 4	54
Глава 5	56
Глава 6	57
Глава 7	60
Глава 8	64
Глава 9	66
Глава 10	66
Глава 11	68
Глава 12	70
Глава 13	72
Книга третья	78
Глава 1	78
Глава 2	81
Глава 3	84
Глава 4	86
Глава 5	87
Глава 6,	89
Глава 7	90
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Виктор Гюго

Отверженные

Часть I

Фантина

Книга первая

Праведник

До тех пор пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое среди расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьбу, зависящую от бога, роковым предопределением человеческим; до тех пор пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века – принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушение; иными словами и с точки зрения еще более широкой – до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.

Отвиль-Хауз, 1862 г.

Глава 1

Господин Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; архиерейский престол в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом г-на Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его собственные поступки. Г-н Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько мал ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни он целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот пришла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель собственной семьи, тра-

гические события 93-го года, быть может, еще более страшные для эмигрантов, следивших за ними издали сквозь призму своего отчаяния, – не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений, заполнявших его жизнь, внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, ломающей его существование и уничтожающей материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; знали только, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году г-н Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касающееся его прихода, – теперь уже трудно установить, какое именно, – привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

– Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

– Государь, – ответил Мириэль, – вы видите доброго человека, а я – великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала об имени этого кюре, и немного времени спустя г-н Мириэль с изумлением узнал о том, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни г-на Мириэля, никто не знал. Семья Мириэля была мало известна до революции.

Господину Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря – околесица, прибегая к выразительному языку южан.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти рассказы и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Господин Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, м-ль Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, г-жа Маглуар, ровесница м-ль Батистины, бывшая прежде «служанкой господина кюре», получила теперь двойное звание: «горничной м-ль Батистины» и «экономки его преосвященства».

Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худощавая и кроткая особа. Она олицетворяла собою идеал всего того, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придавала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку просвечивал ангел. Это была девственница, более того – это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Госпожа Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых – из-за мучившей ее астмы.

Когда г-н Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после генерал-майора. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал г-н Мириэль.

Когда епископ вступил в должность, город стал ждать, каким он окажется на деле.

Глава 2

Господин Мириэль превращается в монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Это было огромное и прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия монсеньором Анри Пюже – доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, занимавшим архиерейский престол в Дине в 1712 году. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и двор, весьма обширный, со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой – длинной и роскошной галерее, которая была расположена в нижнем этаже и выходила в сад, – монсеньор Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, где присутствовали монсеньоры: Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции; аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, и знаменательная дата – 29 июля 1714 года – была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

– Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время? – спросил он.

– Двадцать шесть, монсеньор.

– Да, я насчитал столько же, – подтвердил епископ.

– Кровати стоят слишком близко одна к другой, – добавил смотритель больницы.

– Да, я это тоже заметил.

– Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

– Да, и мне показалось, что это так.

– И знаете ли, когда выпадает солнечный день, садик далеко не вмещает всех выздоравливающих.

– И я подумал об этом.

– Во время эпидемий – в нынешнем году это был тиф, а два года тому назад горячка – у нас иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

– Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

– Ничего не поделаешь, монсеньор, – сказал смотритель, – приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуты епископ хранил молчание.

– Сударь, – спросил он вдруг смотрителя больницы, – сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

– В столовой вашего высокопреосвященства? – с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

– Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, – сказал он как бы про себя. – Послушайте, господин смотритель, я вот что хочу сказать, – продолжал он громче. – Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же – хозяева вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

Господин Мириэль не имел состояния, так как семья его была разорена во время революции. Его сестра пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ г-н Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, определил расходование этой суммы следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

Смета распределения моих домашних расходов

На малую семинарию – тысяча пятьсот ливров
Миссионерской конгрегации – сто ливров
На лазаристов в Мондидье – сто ливров
Семинарии иностранных духовных миссий в Париже – двести ливров
Конгрегации св. Духа – сто пятьдесят ливров
Духовным заведениям Святой Земли – сто ливров
Обществам призрения сирот – триста ливров
Сверх того, тем же обществам в Арле – пятьдесят ливров
Благотворительному обществу поучению содержания тюрем –
четыреста ливров
Благотворительному обществу вспомоществования и освобождения
заключенных – пятьсот ливров
На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – тысяча ливров
На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии
– две тысячи ливров
На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп – сто
ливров
Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное
обучение девочек из бедных семей – тысяча пятьсот ливров
На бедных – шесть тысяч ливров
На мои личные расходы – тысяча ливров
Итого – пятнадцать тысяч ливров.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как мы видим, он называл ее «сметой распределения своих домашних расходов».

Мадмуазель Батистина приняла такое распределение средств с полной покорностью. Для этой святой девушки диньский епископ являлся одновременно и братом и пастырем; другом

– по закону кровного родства и наставником – по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала без возражений; когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, г-жа Маглуар, потихоньку ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией м-ль Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старые женщины и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии г-жи Маглуар и умелому хозяйничанью м-ль Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды – это было месяца через три после прибытия в Динь – он сказал:

– А все-таки я очень стеснен в средствах!

– Еще бы! – вскричала г-жа Маглуар. – Ведь ваше преосвященство не требовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

– А ведь и в самом деле! – сказал епископ. – Госпожа Маглуар, вы совершенно правы.

И он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование г-ну епископу на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это произвело большой шум среди местной буржуазии, и один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал по этому случаю министру вероисповеданий, г-ну Бигу де Преаме, конфиденциальную, исполненную раздражения записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Все эти священники на один лад – жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает так же, как остальные. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох, уж эти мне попы! Поверьте, господин граф, до тех пор пока император не освободит нас от всех этих долгопых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Что до меня, я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».

Зато эти деньги очень обрадовали г-жу Маглуар.

– Вот и хорошо, – сказала она Батистине. – Его высокопреосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас самих. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

Сумма на содержание экипажа и на разъезды

На мясной бульон для лазаретных больных – тысяча пятьсот ливров

На общество призрения сирот в Эксе – двести пятьдесят ливров

На общество призрения сирот в Драгиньяне – двести пятьдесят ливров

На подкидышей – пятьсот ливров

На сирот – пятьсот ливров

Итого – три тысячи ливров.

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов – с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний и т. д., – то епископ с тем большим рвением взимал деньги с богатых, что целиком отдавал их бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие – все стучались в двери г-на Мириэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, – так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И тогда он грабил самого себя.

Согласно обычаю, епископы всегда проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»¹. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, – говаривал он. – Бьенвеню служит поправкой к «монсеньору».

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем только одно – он правдив.

Глава 3

Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять церквей, подчиненных его преосвященству. Обехать все это – нелегкое дело. Но епископ преодолевал все трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке – если предстояло ехать по равнине, и верхом – в горы. Обе старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как монсеньор слезает с осла. Несколько горожан вокруг пересмеивались. «Господин мэр и вы, господа горожане, – сказал епископ, – мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я сделал это по необходимости, а вовсе не из тщеславия».

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами для подражания он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не

¹ Бьенвеню (bienvenu) – желанный; желанный гость (фр.).

сочувствовали беднякам, он говорил: «Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели всем остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые разрушаются. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства».

В деревнях, где все падки до наживы и стремятся поскорее убрать с поля собственный урожай, он говорил: «Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболит во время жатвы и не может работать, то священник упоминает о нем в своей проповеди и в воскресенье после обедни все поселяне – мужчины, женщины, дети – идут на поле этого бедняка, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар». Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил: «Посмотрите на горцев Девольни, этой дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей». В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил: «Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку». В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылаясь на кейрасцев. «Знаете, как они поступают? – говорил он. – Маленькое селенье в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают нескольких наставников, которые и учат, переходя из деревни в деревню и проводя недельку в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, – два пера; те, которые обучают грамоте, счету и латыни, – три пера. Эти последние – великие ученые. Ну, не стыдно ли оставаться невеждами! Поступайте же, как кейрасцы».

Таковы были его речи, серьезные и отечески-заботливые; если не хватало ему примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, – этой особенностью отличалось и красноречие самого Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительное.

Глава 4

Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старушек, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Госпожа Маглуар любила называть его «ваше высокопреподобие». Однажды, поднявшись с кресла, он подошел к книжному шкафу за какой-то книгой. А стояла она на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее. «Госпожа Маглуар, – сказал он, – принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки».

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых и, по всей вероятности, близких к смерти родственников по восходящей линии, прямыми наследниками которых являлись ее сыновья. Младшему предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно

епископ молча слушал это простодушное и вполне простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда г-жа де Ло без конца повторяла подробности всех этих наследств и всех этих «надежд», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады: «Ах, бог мой! Да о чем вы задумались, кузен?» – «Я думаю, – ответил епископ, – об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении одного местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только титулы покойного, но и все ленные и аристократические звания его родных, епископ вскричал: «Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они использовать для своего тщеславия даже могилу!»

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречивым. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил полным блаженства и очарования. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, немножко ростовщик по имени г-н Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает свой акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре: «Посмотри, вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного».

Когда дело касалось милостыни, епископа не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерианцем – подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо. «Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз». Маркиз оглянулся и сухо возразил: «Монсеньор, у меня есть свои бедные». – «Так отдайте их мне», – сказал епископ.

Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

«Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои, во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восьмьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями – дверью и окном и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие – дверь. Причиной этому является вещь, называемая налогом на двери и окна. Поселите-ка в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей – вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные древесной смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!»

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп или Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ ко всем сердцам. В хижинах и в горах он был как у себя дома. О самых возвышенных

вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал поспешно, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил: «Проследим путь, по которому прошел грех».

«Бывший грешник», как он с улыбкой называл себя сам, он не впадал в крайности ригоризма и вполне открыто, не хмуря бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей только в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но, совершенный таким образом, грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым – исключение; быть справедливым – правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить – вот закон для человека. Совсем не грешить – это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда по какому-нибудь случаю все начинали громко кричать и спешили высказать свое возмущение, он говорил, улыбаясь: «Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, в котором повинен каждый. Вот почему те, у кого рыльце в пуху, испугались и так торопятся отвести от себя подозрение».

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, на которых лежит тяжкий гнет человеческого общества. Он говорил: «В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые».

Он говорил также: «Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что не дает бесплатного обучения; оно ответственно за темноту, которую насаждает. Когда душа исполнена мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о различных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услышал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный, из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму, но улики имелись только против нее самой. Она одна могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову такая мысль: он оклеветал любовника, обвинив в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Тогда, обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии, и каждый восхищался ловкостью прокурора. Пустив в ход ревность, он из гнева извлек истину, а из мести – правосудие. Епископ слушал молча. Потом он спросил:

– Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

– В суде присяжных.

– А где будут судить королевского прокурора? – снова спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не слишком образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и общественным писцом. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы сказал следующее: «Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя такую обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место». Его ответ был передан епископу, и тот сказал: «Господин кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне».

Он немедленно отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти собственную душу. Он рассказал ему о величайших истинах, а они-то и являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, – епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И стоя, трепещущий, у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспреданно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, такой угрюмый и подавленный еще накануне, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его прониклась миром, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему: «Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там». Когда он спустился с эшафота, в его взгляде светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало – бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре: «Я только что отслужил торжественную панихиду».

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали: «Это желание порисоваться». Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

Что до епископа, то зрелище гильотины явилось для него ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее – потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить, против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Гильотина – это сгусток закона, имя ее *vindicta*², она не нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед

² Наказание (лат.).

ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот – это виденье. Эшафот не помост, эшафот – не машина, эшафот – не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее неведомой зловещей инициативой: можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают собственной волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот – это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его мясо, пьет его кровь. Эшафот – это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который обычно испытывал такое радостное удовлетворение, выполнив любую свою обязанность, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра: «Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?»

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Епископа Мириэля можно было в любое время дня и ночи позвать к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он умел целыми часами просиживать молча рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, а, напротив, старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил: «Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах – то душа вашего дорогого усопшего». Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, обратившую взгляд на могилу, указав на скорбь, вззирающую на звезды.

Глава 5

О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны

Домашняя жизнь г-на Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил диньский епископ, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедни он завтракал ржаным хлебом, запивая его молоком от своих коров. Потом он работал.

Епископ – очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии, обычно это каноник, и почти каждый день – своих старших викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые вороха духов-

ной литературы – молитвенники, епархиальные катехизисы, часословы и т. д. и т. д., писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и мэров, вести клерикальную корреспонденцию, административную корреспонденцию: с одной стороны – государство, с другой – папский престол; словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, что оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и другой работы у него было одно название – «садовничать». «Ум – это сад», – говорил он.

В полдень, если погода была хороша, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, причем часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с маленькими мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных; когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил свои сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без фиолетовой ватной мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а г-жа Маглуар прислуживала им за столом. Ничто не могло быть умереннее этих трапез. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, г-жа Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Каждый священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из одних только овощей, отваренных в воде, и супа на постном масле. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монах».

После ужина он с полчаса беседовал с м-ль Батистиной и г-жой Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на отдельных листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный и даже до известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из Книги Бытия: «Вначале дух Божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами – с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры Господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горный ветер устремился на землю» – и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от Бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он подвергает разбору богословские труды Гюго, епископа Птолемаидского, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что различные небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда посреди чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого он неизменно писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к самой книге, в которую они были вписаны. Вот перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтонем и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев».

Вот эта заметка:

«О ты, Сущий!

Экклезиаст именует тебя Всемогушим, книга Маккавеев – Творцом, Послание к ефесянам – Свободой, Барух – Необъятностью, Псалмы – Мудростью и Истиной, Иоанн – Светом, Книга царств – Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит – Святостью, Ездра – Справедливостью, вселенная – Богом, человек – Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался один в нижнем этаже.

Здесь необходимо будет дать точное представление о жилище диньского епископа.

Глава 6

Кому он поручил охранять свой дом

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный, три комнаты внизу, три комнаты наверху, под крышей – чердак. За домом – сад в четверть арпана. Женщины помещались во втором этаже, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой открывалась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая – спальней, а третья – молельней. Выйти из этой молельни можно было только через спальню, а из спальни – только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял деревенским кюре, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.

Бывшая больничная аптека – небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад, – превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду имелся хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали эти коровы, епископ неизменно каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», – говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе маленькую комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой не было никакой мебели, за исключением простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой сверх того стоял старенький буфет, покрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, приличествующим образом покрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни монсеньора; он всякий раз брал деньги и раздавал их бедным. «Лучший алтарь, – говорил он, – это душа несчастного, который утешился и благодарит бога».

В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей – префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек, тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье наполовину искрошилась, да и держался он всего лишь на трех ножках, так что сидеть на нем можно было,

только прислонив его к стене. В комнате у м-ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтой, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой; на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то м-ль Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести гостиную мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков, и, увидев, что за пять лет ей удалось отложить для этой цели только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери – кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, – изящные туалетные принадлежности, говорящие о не забытых до сих пор привычках прежнего светского человека; еще две двери: одна возле камина – в молельню, другая возле книжного шкафа – в столовую; книжный шкаф со стеклянными дверцами, полный книг; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор и, как правило, холодный; в камине две железные подставки для дров, украшенные на переднем конце двумя вазочками в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром, и служившие образчиком роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, – распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облесшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом соломенное кресло. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны от кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, сделанные золотыми буквами на тусклом фоне полотна, гласили о том, что портреты изображают: один – аббата Шалио, епископа Сен-Клодского, а другой – аббата Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанского, принадлежащего к монашескому ордену Цистерцианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их на прежнем месте. Это были священники и, по всей вероятности, жертвователи – два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил – первого епископом, а второго викарием – в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда г-жа Маглуар сняла портреты, чтобы обтереть с них пыль, епископ обнаружил это обстоятельство, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи занавесь, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, г-жа Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов имел форму креста. Епископ часто показывал на него.

– Как хорошо это получилось! – говорил он.

Все без исключения комнаты в доме, и в первом этаже и во втором, были выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, г-жа Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате м-ль Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался двумя женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ. «Это ничего не отнимает у бедных», – говаривал он.

Следует, однако, признаться, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой

холщовой скатерти всякий день радовал взор г-жи Маглуар. И так как мы изображаем здесь диньского епископа таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил: «Мне было бы не так-то легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилок».

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, г-жа Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

Там же, в спальне епископа, над изголовьем его кровати висел маленький стенной шкафчик, куда г-жа Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Надо заметить, что ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

Сад, вид которого несколько портили неприглядные строения, о которых говорилось выше, состоял из четырех аллей, расходившихся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех г-жа Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду там и сям росло несколько фруктовых деревьев. Как-то раз г-жа Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства: «Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки». — «Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, — ответил епископ. — Прекрасное столь же полезно, как и полезное». И добавил, помолчав: «Быть может, еще полезнее».

Этот квадрат земли, разбитый на три или четыре грядки, пожалуй, не меньше занимал епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час или два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и сажая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем этого мог бы пожелать настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он вовсе не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался за Жюсье против Линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он глубоко уважал ученых, но еще более уважал ничего не ведающих, и, не переставая отдавать дань уважения тем и другим, он каждый летний вечер поливал свои грядки из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходящая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ сразу же приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Всякий прохожий в любой час суток мог открыть дверь — стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта вечно отпертая дверь сильно тревожила обеих женщин, но диньский епископ сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов они заразились его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что это так. Только на г-жу Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысль: «Вот в чем едва уловимое различие: дверь врача никогда не должна запирается, дверь священника должна быть всегда открыта».

На другой книге, озаглавленной «Философия медицинской науки», он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть мои больные: во-первых, те, которых они называют своими больными, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, о его имени. В приюте особенно нуждается тот, кого это имя стесняет».

Однажды какой-то достойный кюре – я уже не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьеры – вздумал, должно быть по наущению г-жи Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кому бы вздумалось войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «*Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam*»³. Затем заговорил о другом.

Он охотно повторял: «Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, – добавлял он, – должно быть спокойным».

Глава 7 Крават

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был дионский епископ.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который совершенно разорил Олиульские ущелья, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами – остатками шайки Гаспара Бэ – в Ниццком графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л'Эгль и оттуда, ложбинами рек Ибайи и Ибайеты, нередко пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и ободрал ризницу. Его грабежи разоряли весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он всегда ускользал от них, а иногда оказывал открытое сопротивление. Этот негодяй был смельчаком. И вот в самый разгар вызванной им паники в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателлярский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться назад. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем – это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

– Поэтому-то, – сказал епископ, – я и полагаю ехать без конвоя.

– Хорошо ли вы обдумали это, монсеньор? – вскричал мэр.

– Настолько хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

– Уедете?

– Уеду.

– Один?

– Один.

– О нет, монсеньор! Вы этого не сделаете.

– Послушайте, – сказал епископ, – там, в горах, есть маленький бедный приход, я не видел его уже три года. Там живут мои добрые друзья – смиренные и честные пастухи. Из каждой тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти очень красивые разноцветные шнурки и играют горные песни на маленьких свирелях с шестью отверстиями. Они нуждаются в том, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который всего боится? Что бы они сказали, если бы я не посетил их?

– Но разбойники, монсеньор, разбойники!

– В самом деле, – сказал епископ, – я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, и они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о господе боге.

³ Если Господь не охраняет дом, тщетно сторожат охраняющие его (лат.).

– Монсеньор, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

– Господин мэ́р, а может быть, Иисус повелевает мне стать пастырем именно этого стада.

Пути господни неисповедимы!

– Монсеньор, они ограбят вас.

– У меня ничего нет.

– Они убьют вас.

– Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полно!

Зачем им это?

– О боже! Что, если вы повстречаетесь с ними!

– Я попрошу у них милостыню для моих бедных.

– Не ездите, монсеньор, ради бога! Вы рискуете жизнью.

– Господин мэ́р, – сказал епископ, – неужели в этом все дело? Я для того живу на свете, чтобы о душах людских пещись, а не о собственной жизни.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал, сопровождаемый лишь мальчиком, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шума и вызвало сильное беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни г-жу Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую деревенскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потерятой шелковой материи, обшитыми потускневшим галуном.

– Ничего, господин кюре, – сказал епископ, – объявим все-таки с кафедры о нашей мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквях. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы приличествующим образом одеть даже соборного певчего.

Среди всех этих хлопот в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника, которые немедленно ускакали. Ящик открыли; в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох – все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богородицы. В ящике лежал листок бумаги, на котором были написаны следующие слова: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».

– Я ведь говорил, что все уладится! – сказал епископ. И добавил, улыбаясь: – Тому, кто довольствуется простым священническим стихарем, бог посылает архиепископскую мантию.

– Не знаю, монсеньор, – покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, – бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

– Бог.

На обратном пути в Шателяр и в самом Шателяре люди сбегались со всех сторон, любопытствуя посмотреть на своего епископа. М-ль Батистина с г-жой Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я не был прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора».

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные воры; пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли заботиться о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку! Будем

думать лишь о том, что угрожает нашей душе». Потом, обратившись к сестре, он сказал: «Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал в грех из-за нас».

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще же жизнь его текла однообразно: изо дня в день в определенное время он делал то же, что накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбрэнского собора, мы затруднились бы ответить на вопрос о том, что с ними случилось. Это были весьма красивые, весьма соблазнительные вещи, весьма пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена одна записка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу; она гласит: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено – в собор или в больницу».

Глава 8

Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с какими-либо препятствиями вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шагал прямо к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспевания и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек отнюдь не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший всякие мелкие услуги своим сыновьям, зятям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся не более как детищем Пиго-Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Самоуверенно и снисходительно он иногда шутил над этим даже в присутствии самого г-на Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (тому самому сенатору) и г-ну Мириэлю случилось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, бывший слегка навеселе, но не утративший важной своей осанки, вдруг вскричал:

– Черт возьми, господин епископ, давайте поболтаем! Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами – два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

– И вы правы, – ответил епископ. – Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

– Давайте говорить откровенно.

– И даже чертовски откровенно, – согласился епископ.

– Заявляю вам, – продолжал сенатор, – что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

– Они похожи на вас, господин граф, – прервал его епископ.

– Я ненавижу Дидро, – продолжал сенатор. – Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога, и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер вышутил Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля укуса в ложке

теста заменяет *fiat lux*⁴. Представьте каплю покрупнее, а ложку побольше – и перед вами мир. Человек – это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог отец? Знаете что, господин епископ, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой это великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, господин епископ, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравого смысла. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся же высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа твоего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь – это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, внизу, – словом, где-то, – не верю ни на йоту. Ах, так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над *fas* и *nefas*⁵. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти – лови меня, кто может! Заставьте-ка тень схватить рукою горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изида, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Что касается меня, я твердо стою на земле, господин епископ. Бессмертие человека – это еще вилами на воде писано. Ох уж мне все эти прекрасные обещания! Положитесь на них, как же! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы – душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, – кажется, Тертуллиан? – что блаженные будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнечиков. А потом узрят господа. Та-та-та – чепуха все эти царствия небесные. А бог – чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в «Мониторе», но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? *Inter rosula*⁶. Пожертвовать землей ради рая – это все равно что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я – ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда, настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда, насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в эту бездонную дыру. Конец. *Finis!* Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне – смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать, да это просто смешно. Бабушкины сказки. Бука – для детей, Иегова – для взрослых. Нет, наше завтра – это мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем – все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, наперекор всему живите. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Говорю вам, господин епископ, у меня и в самом деле своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить ребяческой болтовней. Но,

⁴ Да будет свет (*лат.*).

⁵ Правда и неправда (*лат.*).

⁶ За стаканом вина (*лат.*).

само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они жуют все это. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть господь бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

– Отлично сказано! – вскричал он. – Какая великолепная штука – этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь; тот не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этим превосходным материализмом, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что они могут безмятежно пожирать все: должности, sinecure, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным; могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, и потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей философией, изысканной, утонченной, доступной одним только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем жизненным радостям. Эта философия извлечена из неведомых глубин, она вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы – добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, – так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

Глава 9 Сестра о брате

Чтобы дать представление о жизни диньского епископа в семейном кругу и о том, как обе благочестивые старушки подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего будет привести здесь письмо м-ль Батистины к виконтессе де Буашеврон, подруге ее детства. Мы располагаем этим письмом.

«Динь, 16 декабря 18...»

Моя дорогая, не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что госпожа Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Госпожа Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, – она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, – потолок покрыт, по старинной моде, живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но что всего интереснее – это моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев госпожа Маглуар обнаружила картины – хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах – забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (тут какое-то слово,

которое нельзя разобрать) и тому подобное. Госпожа Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения, снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два маленьких деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых экю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, и мне больше хотелось бы иметь круглый стол красного дерева.

Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр. Он отдает все, что у него есть, нищим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, и необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. У нас же почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не так ли?

У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, – так он говорит.

Он не хочет, чтобы я или госпожа Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.

Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.

В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсуствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здоров и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» – сказал он. И открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской Богоматери, которые ему подарили грабители.

На этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услышал кто-нибудь из посторонних.

В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это ужасный человек». Теперь я наконец привыкла. Я знаками показываю госпоже Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу госпожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что, если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к господу богу вместе с моим братом и моим епископом. Госпоже Маглуар было труднее, чем мне, привыкнуть к тем, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все уже вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха и потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а господь бог обитает здесь постоянно.

Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю providения.

Так надо держать себя с человеком, который велик духом.

Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы спрашивались. Вам известно, как он все знает и как много помнит – ведь он по-

прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Каннского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роду, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь, Мария-Луиза, была замужем за Адриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Faux, Fauq и Faoucq.

Моя дорогая, попросите вашего достойного родственника, господина кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Большие мне ничего и не нужно. Она прислала мне поклон через вас, и я счастлива этим. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я с каждым днем все больше худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, поэтому я вынуждена расстаться с вами. Тысячу добрых пожеланий. Батистина.

Р. S. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Этот ребенок так мил! А его младший братишка таскает по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: “Н-но!”»

Как явствует из письма, обе старушки хорошо применились к привычкам епископа – это свойственно лишь женщинам, которые понимают мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Сохраняя неизменно свой кроткий и простодушный вид, диньский епископ совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка г-жа Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но никогда во время совершения его или после. Если дело было начато, никто никогда не мешал ему даже жестом. В иные минуты – ему не приходилось об этом говорить им, а может быть, он и сам этого не сознавал, до того совершенна была его скромность – обе женщины смутно понимали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли; и если повиноваться значило исчезнуть – они исчезали. С изумительной тонкостью инстинкта они чувствовали, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже тогда, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали опекать его и поручали это богу.

Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной. Г-жа Маглуар не говорила этого, но она это знала.

Глава 10

Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того, как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, по мнению всего города, еще более безрассудный, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот – произнесем сразу это страшное слово – был когда-то членом Конвента. Его звали Ж.

В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. «Вообразите только – члены Конвента! Они существовали в те времена, когда люди говорили

друг другу «ты» и «гражданин»! Этот человек был почти чудовищем. Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Чуть не цареубийца. Он был страшен. Каким образом по возвращении законных государей этого человека не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову – надо все же проявлять милосердие, – но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т. д. и т. д. Тем более что он безбожник, как и все эти люди...» Пересуды гусей о ястребе.

Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой суровости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где группа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там есть душа, которая одинока».

И внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти отталкивающей. Ибо, в сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!

Добрый епископ был в сильном затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что маленький пастух, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» – добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию – потому что его сутана, как мы уже говорили, была чересчур изношена, а также и потому, что по вечерам обычно поднимался холодный ветер, – и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед и вдруг, в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, он увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью в старом кресле на колесиках, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, юный пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.

Епископ молча смотрел на эту сцену. В эту минуту старик заговорил. «Благодарю, – сказал он, – больше мне ничего не нужно». И, оторвавшись от солнца, его улыбающийся взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шум шагов, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

– За все время, что я здесь, – сказал он, – ко мне приходят впервые. Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

– Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

– Бьенвеню Мириэль. Мне приходилось слышать это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

– Да, меня.

Слегка улыбаясь, старик продолжал:

– В таком случае вы мой епископ.

– До некоторой степени.

– Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Епископ сказал только:

– Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

– Сударь, – ответил старик, – я скоро буду здоров. – Помолчав немного, он добавил: – Через три часа я умру. – И продолжал: – Я немного врач и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я чувствую это; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня несколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь – простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд. – Старик обернулся к пастушку: – Иди ложись. Ты просидел возле меня всю прошлую ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

– Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть – добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В этом расставании с жизнью он как-то не ощущал присутствия бога. Скажем прямо – ибо и маленькие противоречия великих сердец должны быть отмечены так же точно, как все остальное, – епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреподобием», был слегка задет тем, что здесь его не называли «монсеньором», и ему почти хотелось ответить на это обращением «гражданин». Он почувствовал себя склонным к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но самому ему совсем не свойственной. В конце концов, этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ же, который обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем упреки совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона и даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, принадлежал к числу тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. Революция видела немало людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В

этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Столь близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство и самую смерть. Магометанский ангел смерти Азраил повернул бы перед ним вспять, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его предсмертной агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. От них начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей жизненной мощью и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было *ex abrupto*⁷.

– Я рад за вас, – сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. – Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же». Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

– Не слишком радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Этот суровый тон явился ответом на тон строгий.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил епископ.

– Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран – невежество. Вот за конец этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой ложь, тогда как знание – это власть, источник которой истина. Управлять человеком может одно лишь знание.

– И совесть, – добавил епископ.

– Это одно и то же. Совесть – это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.

Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

– Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение проституции женщины, за уничтожение рабства мужчины, за уничтожение невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.

– Радости замутненной, – сказал епископ.

– Вы могли бы сказать – радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которого тысяча восемьсот четырнадцатый год, – радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый строй в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

– Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

– У справедливости тоже есть свой гнев, господин епископ, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, но Французская революция – это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное – пусть так, – но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила

⁷ Внезапно, без предисловий (*лат.*).

на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция – это помазание на царство самой человечности.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

– Да? А девяносто третий год?

С почти зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

– А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгустились в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они наконец разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

– Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но более высоким. Удару грома не подобает ошибаться. – И, в упор глядя на члена Конвента, он добавил: – А Людовик Семнадцатый?

Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

– Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинный ребенок, которого повесили на Гревской площади и который висел там, охваченный веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, ребенок, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, – не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого – другой невинный ребенок, заточенный в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

– Сударь, – прервал его епископ, – мне не нравится сопоставление этих имен.

– Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?

Наступило молчание. Епископ почти сожалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

– Ах, господин священник, – продолжал член Конвента, – вы не любите грубой правды. А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял мытарей из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал «*Sinite parvulos*»⁸, то он не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вававы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

– Это правда, – тихо проговорил епископ.

– Я настаиваю на своей мысли, – продолжал член Конвента. – Вы называли имя Людовика Семнадцатого. Давайте же договоримся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей – и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к более ранним временам, чем девяносто третий год, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

– Я оплакиваю всех, – сказал епископ.

– В равной мере! – вскричал Ж. – Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем – машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, – вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

⁸ Пустите детей (лат.).

– Да, сударь, народ страдает давно... Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли спрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который помогает мне. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ – этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал шума колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Говорю вам – я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Итак, я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия – это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы – один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалиясь в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни – вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне мудрость. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

– *Vermis sum*⁹.

– Земляной червь, разъезжающий в карете! – проворчал член Конвента.

Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

– Пусть будет так, сударь, – кротко сказал он. – Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание – не добродетель, что милосердие – не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

– Прежде чем вам ответить, – сказал он, – я прошу вас извинить меня... Я, сударь, виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть учтивым. Вы оспариваете мои взгляды, я должен ограничиться возражением на ваши доводы. Ваши богатства и жизненные наслаждения – это мои преимущества против вас в нашем споре, но было бы приличнее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

– Благодарю вас, – ответил епископ.

– Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, – продолжал Ж. – На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

– Да, безжалостен, – подтвердил епископ. – Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

– А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем «*Te Deum*»¹⁰ по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул; он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

⁹ Я червь (лат.).

¹⁰ «Тебе бога хвалим» (лат.) – католическая молитва.

Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

– Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год – увы! – покажется ее опровержением. Вы, сударь, считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье – это разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукье-Тенвиль – негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Мальяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Журдан-Головорез чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувуа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали от нее на расстоянии. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрывался от крика. А палач говорил женщине – матери и кормилице: «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Танталя, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Лучший мир – вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю, у меня на руках слишком хорошие карты. К тому же – я умираю.

И, отведя взор от епископа, член Конвента закончил свою мысль несколькими спокойными словами:

– Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех его внутренних позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

– Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной небесной глубины:

– О ты! О идеал! Ты один существуешь!

Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

– Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые еще оставались ему. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать далее было нельзя; ведь он пришел сюда как священник. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

– Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы прискорбно, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Какая-то суровая, как бы подернутая тенью важность лежала теперь на его лице.

– Господин епископ, – сказал он с медлительностью, которая, быть может, проистекала не столько от упадка физических сил, сколько от чувства внутреннего достоинства, – я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления – и боролся с ними. Я видел тиранию – и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну – и я защищал ее; Франции угрожала опасность – и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, – а я обедал за двадцать су на улице Арбр-Сэк. Я поддерживал угнетенных и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда помогал шествию человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, своим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство Святой Клары в Болье, – в 1793 году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро, где только мог. После чего меня стали гнать, преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Вот уже сколько лет, как я, несмотря на свои седины, чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я – проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, сам ни к кому ее не питаю. Теперь мне восемьдесят шесть лет; я умираю. Чего вы от меня хотите?

– Вашего благословения, – сказал епископ.

И опустил на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.

Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С этой поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.

Малейшее упоминание об «этом старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило повод для воркотни местным любителям сплетен. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? – говорили они. – Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры – закоренелые еретики. Так зачем ему было ходить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, которые мнят себя остроумными, позволила себе следующую выходку. «Монсеньор, – сказала она епископу, – все спрашивают, когда вашему преосвященству будет пожалован красный колпак».

«О! Это грубый цвет, – ответил епископ. – Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шляпе».

Глава 11

Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе чувство какого-то недоумения, придавшее еще большую кротость его характеру. И это все.

Хотя монсеньор Бьенвеню менее всего был человеком политики, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к событиям того времени, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-либо отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения г-на Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю г-н Мириэль был приглашен Наполеоном в синод епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и г-н Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии и человек, привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он отвечал: «Я им мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я показался им чем-то вроде распахнутой настежь двери».

В другой раз он сказал: «Что же тут удивительного? Все эти высокопреподобия – князья церкви, а я – всего только бедный деревенский епископ».

Дело в том, что он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, и как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих коллег, у него вырвались между прочим такие слова: «Какие прекрасные часы! Какие прекрасные ковры! Какие прекрасные ливреи! Все это должно сильно докучать! Нет, я бы ни за что не хотел обладать таким избытком роскоши. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно! Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши – это ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о парадных службах и празднествах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник – это бессмыслица, место священника должно быть подле бедняков. Но возможно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякой нуждой, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запыхавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который находился бы у пылающего костра и не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе человека, который постоянно работал бы у раскаленной печи и не имел ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, – это его бедность.

По-видимому, именно так думал и диньский епископ.

Впрочем, не следует предполагать, чтобы в отношении некоторых щекотливых пунктов он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри того

времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что г-н Мириэль выказал ледяную холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот проезжал через Динь, возвращаясь с острова Эльбы, и не отдал приказа по епархии о служении в церквях молебнов за здоровье императора во время Ста дней.

Кроме сестры, м-ль Батистины, у него было два брата: один – генерал, другой – префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладил к первому за то, что, командуя войсками в Провансе и приняв начальство над отрядом в тысячу двести солдат, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал ему дать возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню также коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, своя забота. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль – мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто: «Было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновение не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей – истины, справедливости и милосердия, ярко сияющих над бурной житейской суетой».

Признавая, что бог создал монсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всемогущему Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас лишь тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает обезоруживать нас. В 1813 году подлое нарушение молчания со стороны Законодательного корпуса, до той поры безмолвного и осмелевшего после ряда катастроф, не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году, при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо пятящихся назад и оплевывающих недавнего идола, мы сочли своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего смешного, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как диньский епископ, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был – мы должны признать это – снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки.

Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на свою должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц, и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманное слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» – таково было его выражение, – чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, благодаря чему в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, – говорил он, – чем носить на сердце трех жаб!» Он охотно и во всеуслышание насмеялся над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах! Пусть он убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» – говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил и назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню своими добрыми делами и кротостью снискал к себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила своего епископа.

Глава 12

Одиночество монсеньора Бьенвеню

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, – вокруг каждого епископа вьется стая подчиненных аббатов. Именно этих аббатов св. Франциск Сальский в старину и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое жизненное поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власти имущего, у которого бы не было своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого бы не было своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку монсеньора. Угодить епископу – значит встать на первую ступень, ведущую к должности иподьякона. Надо же пробить себе дорогу – апостольское звание не брезгает доходным местечком.

Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, умеющие молиться – это бесспорно, – но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, не стесняются дожидаться в чьей-нибудь передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией – скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди с влиянием, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, доходы с церковных имуществ, места архиереев, попечителей и другие выгодные кафедральные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь

сами, эти планеты движут вперед и своих спутников – настоящая солнечная система в движении. Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. Со стола их благоденствия крошками сыплются на приближенных маленькие теплые местечки. Чем больше епархия покровителя, тем богаче приход фаворита. А Рим так близко. Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вот вы камерарий, вот вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет только дымок сжигаемого избирательного листка и ничего больше. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник – это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и – кто знает? – быть может, даже искренне поддаваясь самообману. Блажен, кто верует!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старички, немного грубоватые, как и он сам, как и он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченые, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в сан священника, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Ибо люди хотят, чтобы им помогали расти, повторяем это. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, – опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще большей любовью к самопожертвованию, чем вы этого хотите; от сей чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать – вот высшая мудрость, капля за каплей падающая из тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь – успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача – это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана – история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте – такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерее, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке – в этом вся штука! Будьте удачливы – все остальное приложится; будьте баловнем счастья – вас сочтут великим человеком. Не считая пяти или шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты хоть первым встречным – это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость – это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже-Корнель написал «Тиридата»; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр-и-Маас и, выдав картон за кожу,

нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице, и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, – во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

Глава 13

Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли диньский епископ приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших.

Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Никакое тление не может коснуться алмаза. Г-н Мириэль веровал до глубины души. «Credo in Patrem»¹¹, – часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверх веры у епископа был избыток любви. Именно поэтому, *quia multum amavit*¹², его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинуется педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божью. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он бережет для животных. В диньском епископе эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Экклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, извращения инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого лингвиста, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виновато».

Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

¹¹ «Верую в Бога-Отца» (лат.) – католическая молитва.

¹² За многолюбие (лат.).

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей. Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем; ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования неистребимы.

В 1815 году – мы, кажется, уже упоминали об этом – епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан – подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестящие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Что за славный малый!» – если он молод, и «Что за добряк!» – если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добряк – и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добряк преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, казавшийся величественным благодаря увенчивавшим его сединам, становился еще величественнее благодаря запечатлевшейся на нем глубокой думе; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Почтение, невыразимое почтение медленно охватывало вас, проникало в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, искушенных и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.

Итак, молитва, исполнение церковных служб, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы, старушки, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там, наедине с самим собою, сосредоточенный, спокойный и благоговейный, он сравнивал ясность своего сердца с ясностью небесного эфира. Взмолвленный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может, он и сам не мог бы сказать, что совершалось в душе его; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то

нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной! Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей – чудесной тайне; о вечности минувшей – тайне, еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; и, не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые придают форму материи, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения – вечный круговорот завязок и развязок, отсюда жизнь и смерть.

Он сел на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви своих плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, вся застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклониться богу в его прекраснейших творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Маленький сад для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его то, что можно возделывать и собирать; над головой – то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.

Глава 14 О чем он думал

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя модные сейчас выражения, внушить мысль о том, что диньский епископ в своем роде «пантеист» и что он придерживался – в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый – одной из тех субъективных, присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньора Бьенвеню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий – и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изыскивают свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное ослепление. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самую природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди – впрочем, люди ли это? – которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы.

Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его устрашили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Диньский епископ избрал кратчайшую тропу – Евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила – вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного Писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному – найти самому и передать другим наилучший способ пожалеть и поддержать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.

Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земных золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастья мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» – говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; вот в чем и заключалось все его учение. «Послушайте, – сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом, – да взгляните же на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее – тот и умнее.

Ваше «любите друг друга» – глупость». – «Что ж, – ответил епископ, не вступая в спор, – если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и полностью удовлетворялся ею, отстраняя от себя великие вопросы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке – для апостола в боге, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, материю. Nil и Ens¹³, душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньор Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум, строго хранил в душе благоговение перед неведомым.

¹³ Ничто и Сущее (лат.) – термины средневековой философии.

Книга вторая Падение

Глава 1 Вечером, после целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, какой-то путник вошел в городок Динь. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и плотный, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаша из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с прорехой на другом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым бечевкой; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты прямо на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья. Ибо он вошел в Динь той же дорогой, которую семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, как он остановился под деревьями бульвара Гасенди и пил воду из фонтана, что в конце аллеи. Вероятно, его мучила сильная жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, как шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине имелся прекрасный постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, человек, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора в тех краях немало ходило слухов о постоялом дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Но достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблаго-

дарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», – и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавались из соседней комнаты. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

– Что вам угодно, сударь?

– Поесть и переночевать, – ответил вошедший.

– Это можно, – сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: – Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

– Деньги у меня есть, – сказал он.

– В таком случае к вашим услугам, – ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук своей палки, присел на низенькую скамейку перед очагом. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая снова взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

– Скоро ли обед? – спросил тот.

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на маленьком столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

– Скоро ли обед?

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, словно ожидавший ответа, торопливо развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем он подошел к путнику, который казался погруженным в размышления далеко не веселого свойства.

– Сударь, – сказал он, – я не могу оставить вас у себя.

Незнакомец привстал со своей скамьи.

– Как так! Вы боитесь, что я не заплачу! Хотите, я отдам плату вперед? Говорю вам – у меня есть деньги.

– Дело не в этом.

– А в чем же?

– У вас есть деньги...

– Да, – еще раз подтвердил незнакомец.
– Но у меня-то, – продолжал трактирщик, – нет свободной комнаты.
– Так устройте меня в конюшне, – спокойно возразил незнакомец.
– Не могу.
– Почему?
– Там нет места – все занято лошадьми.
– Ну что ж, – снова возразил незнакомец, – в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.
– Я не могу дать вам обеда.

Это заявление, сделанное сдержанным, но решительным тоном, заставило незнакомца насторожиться. Он встал.

– Ах, так! – вскричал он. – Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. Я хочу есть.

– У меня ничего нет, – сказал трактирщик.

Незнакомец разразился смехом и повернулся к камину и к печам.

– Ничего? А все это?

– Все это мне заказано другими.

– Кем?

– Господами извозчиками.

– Сколько же их?

– Двенадцать.

– Да тут хватит еды на двадцать человек.

– Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

– Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

– Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

– Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя – Жан Вальжан. А теперь – сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик продолжал:

– Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге своей двери и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми уличными прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тогда подозрительные, испуганные взгляды всей этой группы людей сказали бы ему, что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручены горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище.

Приличный трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы мелькнул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок – кабачок, что на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Несколько человек сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоянным двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела в маленький дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

– За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала прищельца с одной стороны, огонь очага – с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик оказал:

– Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нившие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо прищельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение смутного довольства, к которому примешивался другой, скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Впрочем, у него был мужественный, энергичный и грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось смиренным, а под конец суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под кучи валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и... (забыл название – кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и сам рассказывал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал незаметный знак кабатчику. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

– Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

– Ах, так? Вы знаете?..

– Да.

– Меня прогнали из того трактира.

– А теперь тебя выгоняют из этого.

– Куда же мне деваться?

– Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и ушел.

На улице несколько мальчишек, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он с гневом повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он пошел дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колоколу. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

– Господин привратник, – сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, – сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

– Тюрьма не постоялый двор. Пусть вас арестуют, тогда откроют.

Окошечко снова захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые из них вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двуствольным ружьем, висевшим на стене. Посредине комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестящий, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую миску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях маленького ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы только он один.

Вероятно, он подумал, что этот радостный дом не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в стекло тихо и нерешительно.

Никто не услышал его.

Он стукнул еще раз.

Он услышал, как женщина сказала:

– Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучит.

– Нет, – ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник доходил ему до левого плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, откинув голову назад; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навывкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и, главное, то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

– Извините, сударь, – сказал путник, – не могли бы вы за плату дать мне тарелку супу и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Скажите, могли бы? За плату.

– Кто вы такой? – спросил хозяин дома.

Человек ответил:

– Я иду из Пюи-Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

– Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, – сказал крестьянин. – Но почему вы не идете на постоялый двор?

– Там нет места.

– Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. Вы были у Лабара?

– Да.

– И что же?

– Не знаю, право, но он меня не пустил, – с замешательством ответил путник.

– А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

– Он тоже не пустил меня, – пробормотал он.

Лицо крестьянина выразило подозрение; он оглядел пришельца с ног до головы и вдруг с каким-то ужасом вскричал:

– Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?» – женщина вскочила с места, схватила обоих детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя: «Воровское отродье».

Все это произошло гораздо быстрее, нежели можно себе представить. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

– Убирайся.

– Ради бога, хоть стакан воды, – попросил путник.

– А не хочешь ли пулю в лоб? – ответил крестьянин. Затем он сильно хлопнул дверью, и путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, с шумом задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через решетчатый забор и очутился в саду. Он подошел к землянке; дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие, и она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере какое-то убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, и он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Подобным же образом выбрался он из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже этой соломенной подстилки, выгнанный из этой жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень, и говорят, что какой-то прохожий слышал, как он вскричал: «Собаке – и той лучше, чем мне!»

Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле какое-нибудь дерево, какой-нибудь стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, почувствовав себя вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с коротко срезанным жнивьем – такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен – и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали очень низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.

Земля поэтому была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно злое впечатление, и однообразные, унылые очертания холма мутным сизым пятном вырисовывались на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отвратительного, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм – только одно уродливое дерево, которое, качаясь и вздрагивая под ветром, стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, без сомнения, не принадлежал к числу людей утонченного духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и этот холм, эта равнина и это дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная улиц, он опять отправился наудачу.

Он дошел таким образом до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу этой площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время какая-то старая женщина вышла из церкви. Она заметила лежащего в темноте человека.

– Что вы здесь делаете, друг мой? – спросила она.

– Разве вы не видите сами, добрая женщина? Я ложусь спать, – ответил он резко и злобно. Добрая женщина, действительно вполне достойная этого имени, была маркиза де Р.

– На этой скамье? – снова спросила она.

– Десять лет я спал на голых досках, – сказал человек, – сегодня посплю на голом камне.

– Вы служили в солдатах?

– Да, добрая женщина, в солдатах.

– Почему вы не идете на постоянный двор?

– Потому что у меня нет денег.

– Как жаль! – сказала г-жа де Р. – У меня в кошельке только четыре су.

– Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. Г-жа де Р. продолжала:

– Этих денег вам не хватит на постоянный двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

– Я стучался во все двери.

– И что же?

– Меня гнали отовсюду.

«Добрая женщина» прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на маленький низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

– Вы говорите, что стучались во все двери? – еще раз спросила она.

– Да.

– А стучались вы в эту?

– Нет.

– Так постучитесь.

Глава 2

Мудрость, предостерегаемая благоразумием

В этот вечер, после своей обычной прогулки по городу, диньский епископ довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему «Об обязанностях», который, к сожалению, так и остался незаконченным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд распадался на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй – об обязанностях каждого отдельного человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности – суть великие обязанности. Их четыре. Святой апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (Матф., VI), обязанности по отношению к самому себе (Матф., V, 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (Матф., VII, 12), обязанности по отношению к творениям Божиим (Матф., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных – в Послании к римлянам; судей, жен, матерей и юношей – у св. Петра; мужей, отцов, детей и слуг – в Послании к ефесянам; верующих – в Послании к евреям; девственниц – в Послании к коринфянам. Все эти предписания он прилежно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на маленьких четвертушках бумаги; как всегда в это время, вошла г-жа Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собою продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Госпожа Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с м-ль Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно сильный огонь.

Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: г-жу Маглуар – низенькую, полную, подвижную; м-ль Батистину – кроткую, худощавую, хрупкую, немного повыше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что г-жа Маглуар была «из про-

стых», а м-ль Батистина – «из господ». Г-жа Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик – единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху по углам двумя булавками, довершали ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье м-ль Батистины было скроено по фасону 1806 года: короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, нашивки и пугови. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка». Г-жа Маглуар производила впечатление смышленной, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали ей оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, с какой-то смесью почтительности и фамильярности, но стоило монсеньору заговорить, и – мы уже убедились в этом – она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Сама м-ль Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навывкате и длинный, с горбинкой, нос, но все ее лицо, все ее существо – мы уже говорили об этом вначале – дышало невыразимой добротой. Она и всегда была predisposed к кротости, а вера, милосердие, надежда – эти три добродетели, согревающие душу, – мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее лишь агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Впоследствии м-ль Батистина столько раз рассказывала о том, что произошло в епископском доме в этот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, г-жа Маглуар что-то с горячностью говорила м-ль Батистине. Она беседовала с мадмуазель на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

По-видимому, г-жа Маглуар, закупая кое-какую провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается где-то на улицах и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собою и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие неприятности. И что поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были надлежащим образом закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.

Госпожа Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодно, теперь грелся, сидя у камина, да и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу г-жи Маглуар. Она повторила ее. Тогда м-ль Батистина, которой хотелось доставить удовольствие г-же Маглуар, не вызвав при этом недовольства брата, осмелилась робко спросить у него:

– Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

– Да, я слышал что-то в этом роде, – ответил епископ.

Потом, передвинув несколько свой стул и опершись обеими руками о колени, он обратился к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

– Ну, в чем дело? Что случилось? Мы, стало быть, находимся в большой опасности?

И г-жа Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-

то опасный нищий. Он хотел переночевать у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гасенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья – настоящий висельник.

– В самом деле? – спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил г-жу Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

– Да, ваше высокопреосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. К тому же полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не иметь ночью даже уличных фонарей! Выходишь, а тут тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что...

– Я ничего не говорю, – прервала ее м-ль Батистина. – Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, г-жа Маглуар продолжала:

– Вот мы и говорим, что наш дом совсем ненадежен и что, если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело; говорю вам, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы на одну только нынешнюю ночь, потому что, говорю вам, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи первый встречный; ну и потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть посреди ночи. О господи, да чего уж тут! Никому нет нужды и спрашивать разрешения...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Глава 3

Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У г-жи Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Мадмуазель Батистина обернулась, увидела входящего человека и, испугавшись, приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

– Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, по месту назначения. Вот уже четыре дня, как я шагаю пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и

в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я был в собачьей конуре. Собака укусила меня и выгнала вон, словно она была человеком. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться там хотя бы в какой-нибудь дверной нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет... Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться?

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

– Погодите, – продолжал он, словно не поверив своим ушам, – тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Осторожник. Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

– Вот мой паспорт. Как видите – желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочесть? Я и сам умею читать. Выучился в остроге. Там есть школа для тех, кто желает. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт: «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец...» – ну да это вам безразлично... – «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну, вот! Все меня выбрасывали вон. Ну, а вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – постелите чистые простыни на кровати в алькове.

Мы уже говорили о том, какой характер носило повиновение обеих женщин.

Госпожа Маглуар вышла исполнить оба приказания.

Епископ обратился к незнакомцу:

– Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось необыкновенное изумление, недоверие, радость. Он стал бормотать, словно помешанный:

– Вправду? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не тыкаете мне? «Убирайся прочь, собака!» – вот что всегда говорят мне люди. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Вот спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда. Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати. Вы позволяете мне остаться! Право, вы достойные люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

– Я священник и живу в этом доме, – сказал епископ.

– Священник! – повторил пришелец. – Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы – кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Гляди-ка, ну и дурень же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. М-ль Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

– Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо – хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

– Нет, – ответил епископ, – оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали – сто девять франков?

– И пятнадцать су, – добавил путник.

– Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы заработать это?

– Девятнадцать лет.

– Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

– У меня покуда все мои деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грасе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был майоркский епископ, в Марселе. Епископ – это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю про это, но уж очень непонятны мне такие вещи. Вы подумайте только – наш брат и он! Он служил обедню посреди тюремного двора, там устроили престол, а на голове у него была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.

Вошла г-жа Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – поставьте этот прибор как можно ближе к огню. – И, повернувшись к своему гостю, добавил: – Ночной ветер очень холоден в Альпах. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово *сударь* своим ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. *Сударь* для каторжника – это все равно что стакан воды для пассажира, пострадавшего при кораблекрушении на «Медузе». Опозоренные жаждут уважения.

– Как тускло горит эта лампа, – заметил епископ.

Госпожа Маглуар поняла епископа, пошла в его спальню, взяла там с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

– Господин кюре, – сказал пришелец, – вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

– Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучат голод и жажда – добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

– Правда? Вы знали, как меня зовут?

– Да, – ответил епископ, – вас зовут «брат мой».

– Знаете что, господин кюре, – вскричал путник, – входя сюда, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной – у меня как будто и голод прошел.

Епископ посмотрел на него и спросил:

– Вы очень страдали?

– Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, – все равно кандалы. Собаки и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. И все тут.

– Да, – сказал епископ, – вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этого горестного места, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда чувство доброжелательности, кротости и мира, то вы лучше любого из нас.

Между тем г-жа Маглуар подала ужин: суп на постном масле с хлебным мякишем и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.

На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

– Милости просим! – с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. М-ль Батистина, державшаяся невозмутимо-спокойно и непринужденно, заняла место налево от брата.

Епископ прочел предобеденную молитву и, согласно своему обыкновению, сам разлил суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

– Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.

В самом деле, г-жа Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался к ужину кто-либо из гостей, в обычае дома было раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов – невинное хвастовство! Это наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Госпожа Маглуар поняла намек, безмолвно вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

Глава 4

Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за этим столом, лучше всего будет привести здесь отрывок из письма м-ль Батистины к г-же де Буашеврон, где с простой и добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

.....

«...Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

– Господин кюре, служитель божий, для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного задело меня. Мой брат ответил:

– У них больше работы, чем у меня.

– Нет, – возразил человек, – у них больше денег. Вы бедны, я это хорошо вижу. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы вправду священник? Право же, если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

– Господь бог более чем справедлив, – ответил мой брат. Затем он спросил: – Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

– Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

– Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

– Вы идете в хорошие места, – сказал мой брат. – Во время революции семья моя была разорена, и сначала я нашел убежище в Франш-Конте, где некоторое время жил трудами рук своих. Я был полон желания работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые фабрики, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов, причем четыре из них, очень значительные, в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере...

По-моему, я не ошибаюсь, и это именно те названия, которые привел мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

– Сестрица, – сказал он, – мне кажется, у нас есть родственники в этих краях.

Я ответила:

– Были, и при старом режиме один из них, господин де Люсенэ, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

– Все это так, – продолжал брат, – но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».

Тут мой брат, не забывая усиленно угощать этого человека, очень подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие риги», принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров и где за лето выдмывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сырны», принадлежащие беднякам – то есть крестьянам с предгорий, которые сообща содержат своих коров и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел по три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу оживать. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, говоря, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразила одна вещь. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, мой брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о его положении или осведомить его о том, кем является мой брат. Казалось бы, для него как для епископа это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая в будущем вести лучшую жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его

жизни. Ведь в ней заключалась и история его проступка, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. И до такой степени, что, говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, добавил он, «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, – это обращаться с ним так же, как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была затаенная мысль моего брата. Так или иначе, я могу сказать только, что если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; в продолжение всего вечера он был совершенно таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судьей Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы уже закусывали смоквами, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он больше не говорил и казался очень утомленным. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал послеобеденную молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель». Госпожа Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала г-жу Маглуар отнести на постель гостя шкуру шварцвальдской косули, которая обычно лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что она такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек с ручкой слоновой кости, который я употребляю за столом.

Госпожа Маглуар тотчас же вернулась назад, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

Глава 5 Спокойствие

Пожелав сестре доброй ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой вручил своему гостю и сказал:

– Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как уже известно из вышесказанного, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, г-жа Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил своего гостя до самого алькова. Там ожидала его постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на маленький столик.

– Ну, желаю вам спокойной ночи, – сказал епископ. – Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

– Спасибо вам, господин аббат, – сказал путник.

Не успел он произнести эти исполненные мира слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было – предостережение или угроза? Или он просто повиновался какому-то безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он круто обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло вскричал:

– Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой! – Он помолчал, потом прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное: – Хорошо ли вы подумали о том, что делаете? Почему знать – может быть, мне случилось на своем веку убить человека?

– Про то ведает только бог, – ответил епископ.

Затем, торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего при этом голову, и, не оглядываясь назад, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала алтарь. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую ночью бог открывает очам тех, кто бодрствует.

Что касается путника, то он так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.

Когда епископ возвращался из сада в свою спальню, пробило полночь.

Через несколько минут в маленьком домике все спало.

Глава 6

Жан Вальжан

Посреди ночи Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца – Жаном Вальжаном, или Влажаном, – по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов *voilà @a@ Jean*¹⁴.

Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не печален, – свойство привязчивых натур. А в общем, этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и незначительным. Совсем еще ребенком он потерял отца и мать. Мать его, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, занимавшийся, как и сын, подрезкой деревьев, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми – мальчиками и девочками. Эта-то сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему – год. Самому Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и в свою очередь поддержал выросшую его сестру. Это сделалось само собой, как долг, не без некоторого глухого недовольства со стороны Жана Вальжана. Так, в тяжелом и плохо оплачиваемом труде, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него когда-нибудь была подружка. Ему некогда было влюбляться.

¹⁴ Вот Жан.

Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свой суп. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из своих детей. Казалось, ничего не замечая, он не мешал сестре делать свое дело и, низко согнувшись над столом, продолжал есть, почти уткнувшись носом в свой суп, не убирая длинных волос, падавших ему на глаза и свисавших над миской. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улочки, жила фермерша по имени Мари-Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибежали к Мари-Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом уголке аллеи, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что больше проливалось молока им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари-Клод за кринку молока, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал по восемнадцать су в день, а потом занимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Постепенно нужда все сильнее зажимала в тиски это злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба – в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба.

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел еще заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла вместе с ним. Изабо бросился на улицу; вор убежал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, из которого он отлично стрелял, – он немного промышлял браконьерством, – и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, весьма недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы-горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист – в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость характера, не уничтожая подчас его человечности.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главным командующим Итальянской армии, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона-Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы – сейчас ему около девяноста лет – все еще хорошо помнит этого беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений – представлений бедного невежественного человека – просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными

ударами молота ему заклепывали железный ошейник на затылке, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и последовательно опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что случилось с его сестрой? Что случилось с ее семерыми детьми? Кому какое дело до этого? Что станет с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же старая история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят – кто знает, куда именно, быть может, каждый своей дорогой – и понемногу потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня деревенской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис, на улице Хлебопекров. При ней оставался только один ребенок, мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время – задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час – целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданище: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же во тьме, съевшись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла только убогая кровать, прятка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и дав ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал – ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить; и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаю этого невеселого места. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня – потому что светло, ночи – потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал

тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с тем же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия – три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.

Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

Глава 7

Глубь отчаянья

Попытаемся рассказать это.

Общество обязано взглянуть на такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантской койки, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он объявил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что вовсе не был осужден невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что, если бы он попросил, ему, быть может, и не отказали бы в этом хлебе; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали этот хлеб либо из сострадания, либо за работу; что на слова: «Разве может человек ждать, когда он голоден?» – нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для бедных его детишек; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестие, – был дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была

кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чашек весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок, и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности – преступлением, повторяющимся каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя, вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать своих членов безрассудной своей беспечности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности – с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между недостатком и чрезмерностью – недостатком работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя, не чудовищно ли, что общество так обращалось именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, были одарены наименее щедро и, следовательно, были наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец, он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; но негодование всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причинило ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему только затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь – война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда уйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-иньорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут лишь усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и также вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны, в нее проник свет, а с другой – тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не задержаться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа

под влиянием судьбы совершенно преобразиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности, не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может окончательно погасить?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы *нет*, если бы увидел в Тулоне этого каторжника, когда тот в часы отдыха – часы его размышлений, – сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел на колесе какого-нибудь судового ворот, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый – пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, и мы вовсе не хотим скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг; он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, он стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, – слово *надежда*.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, и даже больше того – мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того, как он испытал столько горя, многое в нем самом осталось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях. Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел в этой тьме, ощупью находя свой путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней ли, или по внешней причине, им овладевал порыв гнева, приступ страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но вот молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он уже не помнил и сам.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безумные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним сравниться в этом отношении.

На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял оружие, которое теперь называют домкратом, а в старину звали *orgueil*¹⁵, и от которого, упомянем вскользь, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами – людьми, которые вечно завидуют насекомым и птицам. Вскарabкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, втискивая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год злоеший хохот – хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. У него был такой вид, словно он постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой природы и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать свой взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, он всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий – громада, очертания которой ускользали от него, а давящая масса преисполняла отчаянием; он видел колоссальную пирамиду, называемую нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной гряде он вдруг различал там и сям, то совсем рядом с собой, то вдали, на недостижимых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине – окруженного солнечным нимбом самого императора в ослепительно сияющей короне. И ему казалось, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более злоеющим. Все это – законы, предрассудки, события, люди, предметы – кружилось, проносилось над его головой, повинуюсь сложному и таинственному велению бога, продиктованному цивилизации, топча и уничтожая его с какой-то невозмутимой жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубь бедствия, возможного для человека, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее под мельничный жернов, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

¹⁵ Вара.

В конце концов, все это – действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, – привело его к особому душевному состоянию, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своей тяжелой, мучительной работы он вдруг останавливался. Он начинал думать. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным; все, что окружало его, казалось ему неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон». Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударило его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через какое-то подвальное оконце.

В заключение, подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только можно сделать из этого какие-либо положительные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен – таким воспитала его каторжная тюрьма – к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в полном беспамятстве и является как бы мстью за все, что он выстрадал; во-вторых – к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада характера: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокое сознание перенесенных несправедливостей, чувство возмущения даже против добрых, невинных и праведных, если они существуют. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам – та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить – все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как *весьма опасного человека*.

Из года в год душа его все более черствела – медленно, но непрерывно. Черствое сердце – сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

Глава 8

Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, он погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного – лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, которые замирают в глубинах океана. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, иступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право

на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, он упал – все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и потрепанные ветром, окружают его своим ужасным объятием; бездна уносит его в своей качке, водяные лоскутья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; гнусный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды – воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, плывет. Он – это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, – сражается с неистощимым.

А где же корабль? Далеко. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы, его душит морская пена. Он поднимает глаза – над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он – жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем они могут помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он – он изнывает в предсмертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей – меж океаном и небом: первый – могила, второе – саван.

Надвигается ночь, уже столько часов он плывет, его силы приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся совсем; он один среди гигантской сумеречной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водою движение каких-то бесформенных чудищ невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего – в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню – они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное и шумное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним – омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть; он перестает бороться, он уступает, он сдается; и вот он исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О злое исчезновение поддержки! О нравственная смерть!

Море – это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море – это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

Глава 9

Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» – наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из острога.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Скажем попросту – обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грас, он увидел перед воротами завода померанцевых вод людей, выгружавших тюки товара. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжан запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение – это еще не свобода. Выйти из острога – еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грасе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

Глава 10

Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополудни, Жан Вальжан проснулся.

Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, чтобы не нарушить его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружающую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если человек пережил за день много разных впечатлений, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон

приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в таком состоянии духа, когда мысли и представления неясны. В голове у него теснился хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, безмерно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и пропадало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Вот эта мысль, мы сейчас ее откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые г-жа Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь... В нескольких шагах... Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха служанка убирала их в маленький шкафчик у изголовья кровати... Он отлично заметил этот шкафчик... С правой стороны, если идти из столовой... Они были тяжелые и притом из старинного серебра... За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков... Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет... Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.

Добрый час он провел в колебаниях и сомнениях, к которым примешивалась какая-то внутренняя борьба. Пробило три. Он снова открыл глаза, резко приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и внезапно сел, почти сам не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел, задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствующего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял свое прежнее положение и застыл на месте, снова погружившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья та мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она словно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались только на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с какой-то механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Поэтому снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате стоял какой-то сумеречный полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, перемежающийся из-за набегавших на луну облаков, походил на сизую дымку, просачивающуюся в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на маленькую задвижку. Он открыл окно, но холодная, резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. Позади нее, в отдалении, Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что за стеной была аллея какого-то бульвара или же обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул из него какой-то предмет, положил

его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный на одном конце, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно – дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и им давали иногда рабочие орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, задерживая дыхание, бесшумным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

Глава 11 Что он делает

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал с секунду, потом еще раз толкнул дверь, уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял маленький столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь, сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо плохо смазанная, вдруг закричала во мраке резко и протяжно.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что эта петля внезапно ожила, превратилась в какое-то страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению; дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, словно превратившись в соляной столб, не смея шевельнуть пальцем.

Прошло несколько минут. Дверь стояла отворенной настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Ничто там не шевельнулось. Он прислушался. Все безмолвствовало в доме. Скрип ржавой петли не разбудил ни единой души.

Первая опасность миновала, но в душе его продолжало бушевать страшное смятение. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда считал себя

погибшим. Теперь он хотел одного – поскорее покончить с задуманным. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило глубокое спокойствие. Там и сям можно было различить смутные, неясные очертания предметов – днем это просто были разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или молитвенный налой, но теперь, в этот час, все это представлялось лишь темным силуэтом или белеватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Вдруг он остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и проникновенным искусством вмешивается в наши действия, как бы желая натолкнуть нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, эта туча, словно нарочно, разорвалась и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали до кистей его руки. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько милосердных поступков и столько добрых дел, свесилась с кровати. Лицо его было озарено каким-то смутным выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение какого-то невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников во время сна видится таинственное небо.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светило изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, спящий предстал словно в сверкающем венце. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана каким-то не поддающимся описанию полусветом. Эта луна в небе, эта уснувшая природа, этот недвижный сад, этот мирный дом, этот ночной час, эта минута, тишина – все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя эти седые волосы и сомкнутые глаза, это лицо, исполненное надежды и веры, эту старческую голову и этот младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, сам того не ведая.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника.

Этот сон в таком уединении, рядом с таким человеком, каким был он, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, – даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочесть что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление – и только. Он смотрел – вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Было очевидно, что он взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, – это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов размогнуть этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой – свой железный брусок; короткие волосы ошетинились над его нахмуренным лбом.

Епископ все так же спокойно и крепко спал под этим страшным взглядом.

Освещенное лунным бликом, над камином смутно вырисовывалось распятие, которое словно раскрывало им объятия, благословляя одного и прощая другого.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял свой подсвечник, видимо, желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел крупными шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, словно тигр перепрыгнув через забор, скрылся.

Глава 12

Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала г-жа Маглуар, сильно встревоженная.

– Ваше преосвященство, ваше преосвященство! – кричала она. – Не знает ли ваша милость, где корзинка, в которой я держу серебро?

– Знаю, – ответил епископ.

– Слава богу! – обрадовалась она. – А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее г-же Маглуар.

– Вот она, – сказал он.

– То есть как? – удивилась она. – Пустая? А серебро?

– Ах, вы беспокоитесь о серебре? – проговорил епископ. – Я не знаю, где оно.

– Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость – вот кто украл его!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, г-жа Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял, нагнувшись, и, вздыхая, рассматривал саженец ложечника, сломанный корзинкой при ее падении на клумбу. Услышав крик г-жи Маглуар, епископ выпрямился.

– Ваше преосвященство! – кричала она. – Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя обшивка ограды была сорвана.

– Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Какой негодяй! Он украл наше серебро!

Епископ с минуту молчал, потом поднял на г-жу Маглуар свой серьезный взгляд и кротко возразил ей:

– А где сказано, что это серебро было нашим?

Госпожа Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

– Госпожа Маглуар, я был не прав, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

– Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, – возразила г-жа Маглуар. – Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы, ваше преосвященство, будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

– Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Госпожа Маглуар пожала плечами.

– У олова неприятный запах.

– А железных?

Госпожа Маглуар сделала выразительную гримасу.

– Железные дают привкус.

– В таком случае, – сказал епископ, – мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, которая слушала его молча, и г-же Маглуар, потихоньку ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

– Ведь надо же придумать! – бормотала про себя г-жа Маглуар, суетясь у стола. – Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Дверь открылась. Странная и возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый – Жан Вальжан.

Жандармский унтер-офицер, по-видимому главный над ними, остановился в дверях. Затем он вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

– Ваше высокопреосвященство... – начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, изумленно поднял голову.

– Высокопреосвященство! – прошептал он. – Значит, это не простой священник...

– Молчать! – сказал жандарм. – Это его высокопреосвященство господин епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

– Ах, это вы! – вскричал он, обращаясь к Жану Вальжану. – Я очень рад вас видеть. Но послушайте, что же это вы? Ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему вы не захватили их вместе с вашими приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать никакой человеческий язык.

– Ваше высокопреосвященство, – сказал жандармский унтер-офицер, – следовательно, то, что нам сказал этот человек, – правда? Мы встретили его. У него был такой вид, словно он убегал от кого-то. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

– И он вам сказал, – улыбаясь, прервал епископ, – что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

– В таком случае мы можем отпустить его? – спросил унтер-офицер.

– Разумеется, – ответил епископ.

Жандармы выпустили Жана Вальжана, который невольно попятился назад.

– Это правда, что меня отпускают? – произнес он почти невнятно, словно говоря во сне.

– Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? – ответил один из жандармов.

– Друг мой, – сказал епископ, – не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.

Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул Жану Вальжану. Обе женщины смотрели на это без единого слова, движения или взгляда, которые могли бы помешать епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки оба подсвечника.

– А теперь, – сказал епископ, – идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

– Господа, вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

– Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жан Вальжан, совершенно не помнивший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. Он торжественно продолжал:

– Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

Глава 13 Мальш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от погони. Быстрым шагом он шел по полям, выбирая первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он пробродил так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества новых ощущений. Он чувствовал в себе глухой гнев. Против кого? – он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление, с которым он боролся и которому противопоставлял ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это чувство тяготило его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя, что же теперь его заменит? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и доносившийся до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы – столько времени не возникали они перед ним.

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой бурой равнине, совершенно пустынной. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего – даже колокольни какой-нибудь отдаленной деревенской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в свое мрачное раздумье, которое способно было придать еще более утраченный вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.

Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти, который, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, – одного из тех ласковых и веселых малышей, что ходят из края в край в рваных своих штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.

Не прерывая своей песенки, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони несколько мелких монет – должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую только что ему удалось подхватить всю целиком тыльной стороной руки.

Однако на этот раз монета в сорок су отскочила и покатила к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Но мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.

Место было совершенно пустынное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только слабые крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, которое вплетало в его волосы золотые нити и заливало кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

– Сударь, – сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая складывается из неведения и невинности, – а моя монета?

– Как тебя зовут? – спросил Жан Вальжан.

– Малыш Жерве, сударь.

– Убирайся, – сказал Жан Вальжан.

– Сударь, – повторил мальчик, – отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

– Мою монету, сударь! – еще раз повторил мальчик.

Взгляд Жана Вальжана был по-прежнему устремлен в землю.

– Мою монету! – кричал ребенок. – Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

– Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

– Кто это?

– Я, сударь, – ответил ребенок. – Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

– Вот что, отодвинете вы, наконец, вашу ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

– Ах, ты все еще здесь! – вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; по-прежнему не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил: – Уходи, покуда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него, весь задрожал и после нескольких секунд оцепенения пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в свое раздумье, услышал его плач.

Через несколько мгновений ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Он ничего не ел целый день; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли свою палку.

В эту минуту он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную в землю его ногой и блестящую между камнями.

Это произвело на него действие гальванического тока. «Что это такое?» – пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляда от этого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он судорожно бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в том направлении, в котором исчез ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова пошел, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне самым грозным и самым горестным голосом, какой только можно себе представить: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, несомненно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

– Господин кюре, не видали вы тут мальчика?

– Нет, – ответил священник.

– Мальчика по имени Малыш Жерве?

– Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего кошелька две пятифранковые монеты и протянул священнику.

– Господин кюре, вот вам на ваших бедных. Господин кюре, это мальчуган лет около десяти. Кажется, он был с сурком и шарманкой. Он прошел здесь... знаете, из этих савояров.

– Я не видел его.

– Малыш Жерве! А он не из ближних сел? Вы не можете мне сказать?

– Если этот мальчик такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан быстро вынул еще две пятифранковые монеты и передал их священнику.

– На ваших бедных, – сказал он. И вдруг добавил в каком-то исступлении: – Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник стегнул лошадь и ускакал, очень испуганный.

Жан Вальжан побежал в прежнем направлении.

Он пробежал таким образом довольно большое расстояние, он смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Два или три раза он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывался небольшой кустик или камень, почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз взгляделся в даль и прокричал в последний раз: «Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!» – но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул: «Я негодяй!»

Сердце его больше не могло выдержать, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился уже – мы видели это – от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился ангельскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее господу богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным нападением, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда; что если он уступит, то придется отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным и что сейчас завязалась борьба, гигантская и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшийся ему туманный просвет, он шагал словно пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел так, с блуждающим взором? Слышал ли он те таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что, если он хочет стать добрым, ему придется сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе те вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: доходила ли до его сознания хотя бы смутная тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье воспитывает ум – мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, явился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить чрезмерно яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная

и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он совсем перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей вдруг восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, тронувшие его сердце.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, – украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Ибо – странное явление, возможное лишь при тех условиях, в каких находился он, – украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже не был более способен.

Так или иначе, но это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, отделив все неясное и туманное в одну сторону, а свет – в другую, воздействовало на его душу в том состоянии, в каком она тогда была, так же как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще осознать и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему его деньги; потом, удивившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он – только призрак, а пред ним, облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с тысячей гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Как мы уже говорили, чрезмерность несчастий сделала его в некотором роде ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой этого Жана Вальжана, его страшное лицо. Он почти готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она вытесняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине какой-то мерцающий огонек, который принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что этим факелом был епископ.

Его мысль попеременно останавливалась на двух людях, стоявших перед его сознанием, – на епископе и Жане Вальжане. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей восторженному состоянию такого рода, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ.

Он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан плакал долго. Он плакал горячими слезами, он плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и наконец озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, его первый проступок, его длительное искупление, его внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута его выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, – эта кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более чудовищная, что она произошла уже после прощения епископа, – все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; в свою душу – и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. По-видимому, можно считать достоверным лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Епархиальной улице, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей монсеньора Бьенвеню.

Книга третья В 1817 году

Глава 1 1817 год

А год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для г-на Брюгьера де Сорсум. Все парикмахерские заведения, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным своим носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный же подвиг г-на Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до пяти лет огромные шапки из сафьяна с наушниками, сильно напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета в белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им названия департаментов. Наполеон находился на острове Св. Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м-ль Биготтини танцевала; царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Г-н Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, подсмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели местами от бивуачных костров австрийцев, построивших свои бараки возле Гро-Кайу. Две-три такие колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне¹⁶. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер, издания Туке, и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою – Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заме-

¹⁶ Игра слов, построенная на двойном смысле: Champ-de-Mai – Майское собрание (буквально – Майское поле) и Champ-de-Mars – Марсово поле (буквально – Мартовское поле).

няла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала трем или четверем из своих друзей еще не изданную «Урику». В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада – двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Г-н Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созрел будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. «Клара Альба» и «Малек-Адель» считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем современности. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти.

В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые изображали акробатические упражнения и, придавая особую остроту афишам Франкони, собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Г-н Паэр, автор «Агнезы», добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал небольшими камерными концертами у маркизы де Сасене в улице Виль-л'Эвек. Все молодые девушки распевали «Сент-Авельского отшельника», текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в «Зеркало». Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцога Беррийского, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женили на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м-ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. «Минерва» писала фамилию Chateaubriand¹⁷ так: Chateaubriant. Эта буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сулыт не выиграл ни одного сражения; Наполеон – и это правда – уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходили, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», – и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эра революций была навсегда закончена королем Людовиком XVIII, прозванным «бессмертным автором хартии». На береговом откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово *Redivivus*¹⁸. Г-н Пье готовил в доме № 4 на улице Терезы тайное собрание с целью упрочить монархию. Ультрароялисты говорили в затруднительных случаях:

¹⁷ Шатобриан.

¹⁸ Воскресший (лат.).

«Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, слегка поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Со своей стороны, общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Г-н Деказ, до некоторой степени либерал, господствовал над умами. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю г-ну Пилоржу различные варианты «Монархии согласно хартии». Делававшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелец подписывался буквой А; Гофман – буквой Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был упразднен. Лицеи назывались коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству герцогине Шартрской о том, что на выставленном повсюду портрете герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имел более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, – крупная неприятность.

Город Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае г-н де Тренкеллаг; г-н Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с г-ном Клозелем де Кусерг; г-н де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне, на фронте которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочесть: «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под следующим заголовком: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», – говорил сей наивный издатель. Общее мнение гласило, что г-н Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть – признак славы, и про него написали такой стишок:

Луазон, воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок – Луазон.

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Лионскую епархию, то ею теперь управлял де Пен, архиепископ Амазийский. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дапской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал величественную свою мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал уже попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтин, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхла на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была ничемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия – словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Г-н де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью госу-

дарственного переворота, приказов и новых назначений, явился почтенным творцом нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции г-на Делаво по причине его благочестия. Дюпоитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были надавать друг другу тумаков. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, усердно хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой в степень «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен в степень», был объявлен неологизмом г-ном Руайе-Колларом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев входящего в собор Парижской Богоматери графа д'Артуа, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку являлись на Бал дикарей». Крамольные речи; полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали среди бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои продажные душонки и верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: *Please adjust your dress before leaving*¹⁹.

Вот что впережку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, – полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и складывается облик столетий.

В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».

Глава 2

Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.

Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого

¹⁹ Перед уходом оправляйте одежду (англ.).

из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность – спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.

Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство – пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате – падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что случилось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!

У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.

«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем

челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, а жемчуг – во рту.

Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишасшие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грезы. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты – скандально много для горы Св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron – по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:

– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa o miracolo! – Желтолицый, сотвори чудо!» – так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.

Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

Глава 3

Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «околопарижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменялась вагоном, пакетбот – пароходом, и сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот счастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, купили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутивными шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.

Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновой ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»

Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было береговое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze août – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.

Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу.

Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля, и красоту ритма. Стил – форма идеала, ритм – его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слыш-

ком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обуславливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь – грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

Глава 4

Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала и до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, что всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг – то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, с лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве свои розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин – все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, – кроме той, которая любила. «Ты всегда разыгрываешь из себя недотрогу», – говорила ей Фавуритка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары – это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, – все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза – вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А эти легкие возгласы, это преследование друг друга в зеленой траве, эта девическая талия, которую обнимают на бегу, эти словечки, звучащие, как музыка, это обожание, выдающее себя интонацией одного слога, эти вишни, вырванные губами из губ, – все это искрится, проносясь мимо, в каком-то небесном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как отобразить их. «Отплытие на Киферу!» – восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает своих горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое и прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, рас-

трепанными веточками, лишенными листьев, но покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, всю усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Угощаю ослиами!» – и, договорившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси – происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анахоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты – этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди как следует раскачали большую сетку-качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Поочередно качая красавиц, среди дружного смеха и взлета юбок, образовывавших такие складки, которые восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец – ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, – напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:

Soy de Badajoz.
Amor me llama,
Toda mi alma
Es en mis ojos,

Porque enseñas
A tus piernas²⁰.

Одна только Фантина отказалась качаться.

– Терпеть не могу, когда так ломаются, – пробормотала Фавуритка довольно едким тоном.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, – говорила Фавуритка, – по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, уже совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, и его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фавуритка восклицала:

– Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.

– Терпение, – отвечал Толомьес.

Глава 5 У Бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неудобная комната с альковом и кроватью в глубине ее (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, и пришлось волей-неволей примириться с этим пристани-

²⁰ Я из Бадахоса. Любовь меня зовет. Вся душа моя в моих глазах, Когда ты показываешь Свои ножки. (испан.)

щем), два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном – гора пышных букетов вперемежку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим – четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок; кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и еще больший беспорядок под ним;

Там делали такое ногами под столом,
Что гром гремел, дрожало все кругом, —

как сказал Мольер.

Вот как обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах, еще не совсем исчезнувшие в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

Верните нам отца из Гента,
Верните нашего отца.

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; именно в те времена одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелому размышлению, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Просто-народе провинций беспокойно, а парижское – ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом и теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем – это добродушные каналы».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это бывает, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презируемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках, она являлась там воплощением свободы, и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные каналы», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу – то же, что афинянин по отношению к греку, никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и леность не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на

любое проявление беспечности; но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику – и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье – и вы увидите Аустерлиц. Он – точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве – он вербует в солдаты; речь идет о свободе – он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны. Первую попавшуюся улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинское ущелье. Пробьет час, и этот обыватель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, и взгляд его станет грозным, дыхание станет подобным буре, и из этой жалкой тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет – в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! Пока его припев всего лишь «Карманьола», он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть «Марсельезу» – и он освободит весь мир.

Написав на полях донесения Ангlesa эту заметку, возвращаемся к нашим четверем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

Глава 6, в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! Те и другие одинаково неуловимы: любовные речи – это облака, застольные – клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье трубил в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фавуритка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

– Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

– А что бы ты сделала, Фавуритка, если бы я тебя разлюбил?

– Я! – вскричала Фавуритка. – Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бы бросилась на тебя, искусила, исцарапала, облила бы тебя водой, заставила тебя арестовать.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фавуритка продолжала:

– Да я бы попросту закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!

Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фавуритку среди общего гама:

– Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

– Я-то? Да я его ненавижу, – так же тихо ответила Фавуритка, снова берясь за вилку. – Он скупой. Я люблю мальчика, который живет против меня. Такой милый молодой человек. Ты не знаешь его? И сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Вот сейчас он начнет кричать. Голубчик, да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы и чуть не на самую крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает по двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! Он до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я развожу тесто для блинчиков – руки у меня были все в тесте, – да и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Нет, только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова потерять

голову из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья! – Фавуритка помолчала немного, потом продолжала: – Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого; и потом, погляди только, какая гадость, – мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.

Глава 7

Мудрость Толомьеса

Пока одни пели, другие беспорядочно болтали; все голоса сливались в какой-то нестройный шум. Толомьес прервал его.

– Нечего нести вздор, да еще без передышки! – воскликнул он. – Для блестящей беседы надо обдумывать свои слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться. Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать – замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном.

Глухой гул протеста раздался среди присутствовавших.

– Толомьес, оставь нас в покое, – сказал Блашвель.

– Долой тирана! – заявил Фамейль.

– Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! – вскричал Листолье.

– На то и воскресенье, – продолжал Фамейль.

– Мы совершенно трезвы, – добавил Листолье.

– Толомьес, – произнес Блашвель, – оцени мою канальскую выдержку.

– Да, поистине монканальмскую, – скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

– Друзья, – вскричал Толомьес тоном человека, вновь обретшего авторитет, – придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур – это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, и разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расплзшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, никак не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра. Моисей – по поводу Исаака, Эсхил – по поводу Полиника, Клеопатра – по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит – «поварешка». Установив это, возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в островах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. Est modus in rebus²¹

²¹ Во всем должна быть мера (лат.). – Гораций, Сатиры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.